

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

ДОВЛАТОВ

ФТМ

УДК 82/821-821.161.1

ББК 84(2)

**Оригинал-макет книги для PoD-издания
подготовлен ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»**

Попов, В.

Довлатов. [Роман]. / Валерий Попов. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022. — 284 с.

ISBN 978-5-521-74685-9

Литературная слава Сергея *Довлатова* имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке. Сегодня его творчество завоевало любовь миллионов читателей, ценящих отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте. Первая биография Довлатова написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым. Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

ISBN 978-5-521-74685-9

© Текст. В. Попов, наследники, 2022
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022

Истинное мужество состоит в том, чтобы любить
жизнь, зная о ней всю правду.

Сергей Довлатов

ВВЕДЕНИЕ

Над названием «Введение» в начале одной книги (помните, какой?) Довлатов уже смеялся. Он смеялся много над чем. И это было правильно. Когда он взялся за перо, многое в нашей жизни могло служить поводом для смеха. Например — очередь за мебельным гарнитуром сроком на двадцать лет. И люди мечтали записаться — более того, занимали очередь с вечера для того, чтобы в жестокой борьбе урвать шанс стать через двадцать лет владельцем вожделенного гарнитура. Для людей пожилых — а таких в очереди было немало — это была борьба уже не за выживание, а почти за бессмертие. Во всяком случае, этим они как бы гарантировали себе двадцать лет активной жизни. Ведь человеческое сознание не может себе представить, что гарнитур, которому отдано столько времени и сил, так и не удастся увидеть. Образ коммунизма, твердо обещанного, но потом как-то рассосавшегося, уже перестал нас возбуждать — может, поэтому веру хотя бы в гарнитур отнимать у людей было бесчеловечно. Вера необходима, страсти должны быть — это понимали власти и жизнь такую поддерживали, как могли.

Помню, как однажды в Крыму всех нас выгнали из гостиницы, с криками: «Землетрясение, землетрясение!» Мы зажгли фары наших машин, врубили музыку и плясали всю ночь. Утром прошел слух, что несостоявшееся землетрясение выявило огромное количество недостатков в работе местных органов, оказавшихся в ту ночь как-то не на высоте, а также вскрыло полную неспособность армии и флота. Да и само землетрясение оказалось фальшивым — просто кто-то, напившись, упал рядом с чутким сейсмографом.

Примерно в таком же «порядке» была и официальная наша литература. Помню веселое чтение на пляже романа многократного нашего лауреата. Сюжет такой: секретарь обкома из Сибири, оказавшись с неохотой в Италии (партия послала), встречает на приеме в посольстве итальянскую герцогиню-красавицу-миллиардершу, которая, тут же, потеряв голову, бросая многочисленные дворцы и замки, устремляется за ним в далекую Сибирь, в отчаянии предлагая себя и свои капиталы. После долгой, страстной ее мольбы он хмуро соглашается взять лишь капиталы — да и то, ясное дело, не для себя, а для подъема лесного хозяйства области. «Советская литература — мать гротеска», — помнится, я написал такую статью.

Что и говорить — наша жизнь и литература уже настойчиво требовали такого писателя, как Довлатов. Всё для него было уже готово. Ну как тут не писать? Ужасно смешно, смешно до ужаса: золотое время для новой литературы. И самое поразительное — его произведения, осужденные начальниками всех рангов, оказались чуть спустя самым точным, если не единственным портретом того времени. Подобно тому, как из эпохи «великих сдвигов» двадцатых — тридцатых любимой книгой масс оказались «Двенадцать стульев», отодвинувшие в сторону все орденоносные тома. Гениально об этом сказал Марсель Пруст: «В веках от литературы остается лишь гротеск». «Золотой осел», «Дон Кихот», Швейк, Остап Бендер. И Довлатов с «нетипичными» его героями — в этом же ряду. Типичные как-то потускнели, забылись — как и обычная наша жизнь. А он — нет. Другое дело, что при такой жизни и его, лучшего писателя своего поколения, тоже «поставили в очередь» на двадцать лет.

Вот сиди теперь и думай: как же так? Жила целая страна — СССР. Сколько было бурных событий, особенно в последние годы, в которых участвовали миллионы людей... Перестройка. Еще, кажется, гласность. Ускорение было? Вроде бы да. Талоны были? Да... Но — до ускорения или в результате его? Были винные очереди. В каком году? Что-то уже и не вспомнить, как стоял в этих очередях... А зачем? Неужто так уж хотелось выпить? Да вроде бы нет. Так чего же стоял? Странное дело: ничего уже не помнишь, не ощущаешь... Что осталось-то в голове? Ответ — книги Довла-

това! Лучше всего сохранившееся свидетельство нашей эпохи. Самое точное — и самое интересное. И если хотим вспомнить прожитую нами жизнь — берем его книги. Лучше ничего нет. Все остальное стремительно тает, как дым. Он — остается. Как же это он сделал так, вопреки известной догме, что побеждают всегда сильные? Ан нет! Побеждают такие, как мы! Довлатов сделал нас поколением.

Так как же было — ежели по порядку?

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Гергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе.

— Вот невезуха! — воскликнем мы. — Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны!

Впрочем, сам бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным: родиться всегда хорошо. Наверно, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена: все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе.

Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни — даже самой ранней, — без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг не кто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе — и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу. А кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией... Да, рано начал наш герой!

Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде.

Примерно тогда и я сюда вернулся и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял — и действовал на нас.

После моей низкоэтажной Казани (и довлатовской Уфы) огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура — в основном эклектика, как мы понимаем сейчас, — с башнями, бойницами, восточными окнами будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте — а в продолжении чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой, мы шли в гости и вдруг заворуженно застывали перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице: волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать — не чувствовали, запоминали. Разрушенность, «забытость» Ленинграда после войны (старые жильцы сгинули, кто в блокаде, кто в ссылке, и никто уже не помнил, что значит этот витраж) — рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и воссоздать именно мы.

Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спаса на Крови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде словно в затерянном таинственном городе — большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого — мало ли было тогда в школах таких Сереж? Предполагал ли он?

Сам Довлатов преподнес свое детство так:

«Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа».

Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал:

«Помню, первого сентября делали переключку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а также национальность. И вдруг встает пухленький темненький мальчик и тихо говорит: “Сережа Мечик, еврей”. Конечно, по классу прошел смехок. Во-первых, слово “еврей” традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия у Сережи

была смешная и очень забавно сочеталась с его кругленькой фигуркой: «Мечик» звучит как «мячик»».

«Толстый застенчивый мальчик». И тут Довлатов сразу за душу берет! И я — вдруг с волнением вспоминаю, — был такой же! Но, наверное, это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей, хулиганской толпе будущих уроков, заполнявших тогда все дворы. «Толстый» — это значит все-таки немножко подкормленный мамой в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей забубенных родителей, махнувших на всё рукой. «Застенчивый», как я вспоминаю, значило в те времена — не впаянный в дворовую, уличную, полублатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой тех, кто по слабоволюю тянулся за ней еще в дворовых играх. Рассказ о первом появлении Довлатова в школе друг заканчивает так:

«...Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злосчастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил). Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще — а бедный Сережа совсем смутился».

Такое начало школьной жизни было и у меня — с отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь «застенчивых мальчиков» состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника — и тоже горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя — увы, самое то... О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается: почему все шишки на него? Потому! Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти «шишки», будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было — Карла. Такая вот несчастливо-счастливая судьба!

Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:

— Нарисуйте каждый что хотите.

— А что, что? — слышались голоса.

— Что хотите!

Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест: кто как себя покажет, так потом с ним и обращаться... Я показал себя хуже... нет — слабее всех! Когда дети подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками (наверняка уже не раз отработанными с воспитателем в детском саду) я, почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку — поместившуюся с клювом, ногами и хвостом... в одну клеточку тетради. Почти не различить! Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго... Зато я это помню и могу об этом написать — в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное, и давно уже забыл. А я помню! Вот так.

Вспоминает соседка Довлатова:

«Сереза не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания... Не то чтобы он был скованным. Он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню, чтобы Нора Сергеевна проявляла какую-то особую строгость, но в детстве Сереза слушался ее беспрекословно».

Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее — тут видят тебя и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство — да и вся жизнь в этом ключе, — могло бы быть идеальным для будущего скрипача или математика, но не для писателя:

«Черные дворы. Зарождающаяся тяга к плебсу».

Без этого, видимо, будущему писателю никак... Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебсу мог придумать и сказать только несомненный аристократ, аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает, для него окружение такого рода — «свои парни в доску», самое то! А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного выше... Но «рейды» в него делать приходится: будущему писателю